

Порой он носится с мыслью делать свои творения цветными, но я его отговариваю. Я указываю на мою крытую белым лаком металлическую кровать и прошу его мысленно представить себе это совершенство в размалеванном виде. Тогда он в ужасе всплескивает над головой своими санитарскими руками, пытается одновременно выразить на своем несколько неподвижном лице все мыслимые формы ужаса и отрекается от своих многоцветных планов. Итак, моя казенная, металлическая, крытая белым лаком кровать служит образцом. Для меня она даже нечто большее: моя кровать — это наконец-то достигнутая цель, мое утешение, она могла бы стать моей верой, дозволю начальство моего заведения предпринять некоторые усовершенствования: я бы сделал повыше решетку кровати, чтоб никто не подходил ко мне слишком близко.

Один раз в неделю день посещений разрывает мою переплетенную белыми металлическими прутьями тишину. Тогда приходят они, те, кто желает меня спасти, те, кому доставляет удовольствие любить меня, те, кто ценит меня, уважает и хотел бы поближе узнать во мне самих себя. До чего ж они слепы, неврастеничны, невоспитанны. Они царапают маникюрными ножницами по белому лаку моей решетки, они рисуют ручками и синим карандашом продолговатых непристойных человечков. Мой адвокат, взрывая комнату громогласным «Привет!», всякий раз напяливает свою нейлоновую шляпу на левый столбик в изножье кровати. И ровно на столько, сколько продолжается его визит, — а адвокаты могут говорить долго, — он подобным актом насилия лишает меня равновесия и бодрости духа.

После того как посетители разложили свои гостинцы на белой, крытой клеенкой тумбочке под акварелью с анемонами, после того как им удалось поведать мне о своих текущих либо планируемых идеях по спасению и убедить меня, которого они без усталости рвутся спасать, в высоком уровне своей любви к ближнему, их снова начинает тешить собственное бытие, и они прощаются со мной. Затем приходит санитар — проветрить и собрать бечевку от пакетов с гостинцами. Нередко у него еще остается время, чтобы, присев после этого на мою кровать и распутывая бечевку, распространять вокруг себя тишину до тех пор, пока я не начинаю называть тишину именем Бруно, а Бруно — тишиной.

Бруно Мюнстерберг — я имею в виду своего санитаря — на мои деньги купил мне пятьсот листов писчей бумаги. Бруно, неженатый, бездетный и родом из Зауэрланда, готов, если запасов не хватит, снова наведаться в маленькую лавчонку писчебумажных товаров, где торгуют также и детскими игрушками, дабы обеспечить меня необходимой нелинованной площадью для моей, будем надеяться, надежной памяти. Никоим образом не мог бы я попросить об этой услуге своих визитеров, скажем адвоката или Клеппа. Хлопотливая, прописанная мне любовь наверняка не позволила бы моим друзьям приносить с собой нечто столь опасное, как бывает опасна чистая бумага, и предоставлять ее в распоряжение моему непрерывно извергающему слова духу.

Когда я сказал Бруно: «Ах, Бруно, не купишь ли ты мне пятьсот листов невинной бумаги?», — тот возвел глаза к потолку и, воздев в том же направлении указательный палец, что невольно устремляло мысли к небесам, ответил: «Вы подразумеваете белую бумагу, господин Оскар?»

Я остался при своем словечке «невинная» и попросил Бруно употребить в лавочке именно его. Вернувшись ближе к вечеру с пачкой, он предстал передо мной как Бруно, обуреваемый мыслями. Многократно и подолгу задерживал он взгляд на потолке, откуда черпал все свои откровения, и немного спустя высказался: «Вы порекомендовали мне должное слово. Я попросил у них невинной бумаги, и продавщица сперва залилась краской и лишь потом выполнила мою просьбу».

Опасаясь затяжной беседы о продавщицах писчебумажных лавок, я раскаялся, что назвал бумагу невинной, а потому молчал, дожидаясь, когда Бруно выйдет из комнаты, и лишь после этого вскрыл упаковку, содержащую пятьсот листов бумаги.

Я не стал слишком долго держать и взвешивать на руке упругую, неподатливую пачку. Я отсчитал десять листов, запрятал в тумбочку остальные, авторучку я обнаружил в ящике рядом с альбомом фотографий; ручка заправлена, недостатка в чернилах быть не должно, как же мне начать?

При желании рассказ можно начать с середины и, отважно двигаясь вперед либо назад, сбивать всех с толку. Можно работать под модерниста, отвергнуть все времена и расстояния, дабы потом возвестить самому или передоверить это другим, что

наконец-то удалось разрешить проблему пространства и времени. Еще можно в первых же строках заявить, что в наши дни вообще нельзя написать роман, после чего, так сказать, у себя же за спиной сотворить лихой триллер, чтобы в результате предстать перед миром как единственно мыслимый сегодня романист. Я выслушивал также слова о том, что это звучит хорошо, что это звучит скромно, когда ты для начала заявляешь: нет больше романских героев, потому что нет больше индивидуальностей, потому что индивидуальность безвозвратно утрачена, потому что человек одинок, каждый человек равно одинок, не имеет права на индивидуальное одиночество и входит в безымянную и лишенную героизма одинокую толпу. Так оно, пожалуй, и есть и имеет свой резон. Но что касается меня, Оскара, и моего санитаря Бруно, я бы хотел заявить: мы с ним оба герои, герои совершенно различные, он — за смотровым глазком, я — перед глазком; и даже когда он открывает мою дверь, мы оба, при всей нашей дружбе и одиночестве, отнюдь не превращаемся в безымянную, лишенную героизма толпу.

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы, перед тем как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть, на худой конец, хоть половину своих дедов и бабок. Позвольте же мне всем вам, мои друзья и мои еженедельные посетители, принужденным вести запутанную жизнь за стенами моего специализированного лечебного учреждения, всем вам, даже и не подозревающим о моих запасах писчей бумаги, представить бабушку Оскара с материнской стороны.

Моя бабушка Анна Бронски сидела на исходе октябрьского дня в своих юбках на краю картофельного поля. До обеда можно было наблюдать, как бабушка умело сгребает вялую ботву в аккуратные бурты, к обеду она съела подслащенный сиропом кусок хлеба с жиром, затем последний раз промотыжила поле и наконец осела в своих юбках между двух почти доверху наполненных корзин. Рядом с подметками ее сапог, что стояли торчком, устремясь носками друг к другу, тлел костерок из ботвы, порой астматически оживая и старательно рассылая дым понизу над едва заметным уклоном земной коры. Год на дворе был девяносто девятый, а сидела бабушка в самом сердце Кашубской земли, неподалеку от Биссау, но еще того ближе к кирпичному заводу

перед Рамкау, за Фиреком, где шоссе между Диршау и Картхаусом вело на Брентау; сидела спиной к черному лесу Гольдкрут и обутленной на конце ореховой хворостиной заталкивала картофелины под горячую золу.

Если я только что с особым нажимом помянул юбки моей бабушки, если я, будем надеяться, вполне отчетливо сказал: «Она сидела в своих юбках», да и главу назвал «Просторная юбка», значит, мне известно, чем я обязан этой части одежды. Бабка моя носила не одну юбку, а целых четыре, одну поверх другой. Причем она не то чтобы носила одну верхнюю и три нижних юбки, нет, она носила четыре так называемых верхних, каждая юбка несла на себе следующую, сама же бабушка носила юбки по определенной системе, согласно которой их последовательность из дня в день менялась. То, что вчера помещалось на самом верху, сегодня занимало место непосредственно под этим верхом, вторая юбка оказывалась третьей, то, что вчера было третьей юбкой, сегодня прилегало непосредственно к телу, а юбка, вчера самая близкая к телу, сегодня выставляла на свет свой узор, вернее отсутствие такового: все юбки моей бабушки Анны Бронски предпочитали один и тот же картофельный цвет — не иначе этот цвет был ей к лицу.

Помимо такого отношения к цвету юбки моей бабушки отличал непомерный расход ткани. Они с размахом кружились, они топорщились, когда задувал ветер, сникали, когда ветер отступал, трепетали, когда он уносился прочь, и все четыре летели перед моей бабушкой, когда ветер дул ей в спину. А усевшись, она группировала все четыре вокруг себя.

Помимо четырех постоянно раздутых, обвисших, падающих складками либо пустых, стоящих колом возле ее кровати, бабушка имела еще и пятую юбку. Эта пятая решительно ничем не отличалась от прочих четырех картофельного цвета. К тому же пятой юбкой не всегда была одна и та же пятая юбка. Подобно своим собратьям — ибо юбки наделены мужским характером, — она тоже подвергалась замене, входила в число четырех надеванных и, подобно всем остальным, когда наставал ее черед, то есть каждую пятую пятницу, шла прямым в корыто, по субботам висела на веревке за кухонным окном, а потом ложилась на гладильную доску.

Когда моя бабушка после такой приборочно-пирогово-стирально-гладильной субботы, после дойки и кормления коровы

целиком погружалась в лохань, сообщала что-то мыльному раствору, потом давала воде снова опасть, чтобы в цветастой простыне сесть на край постели, перед ней на полу пластались четыре надеванные юбки и одна свежевystиранная. Бабка подпирала указательным пальцем правой руки нижнее веко правого глаза, ничьих советов не слушала, даже своего брата Винцента и то нет, а потому быстро принимала решение. Стоя босиком, она пальцами ноги отталкивала в сторону ту юбку, которая больше других утратила блеск набивной картофельной краски, а освободившееся таким образом место занимала свежевystиранная.

Во славу Иисуса, о котором у бабки были вполне четкие представления, воскресным утром для похода в церковь в Рамкау бабка обновляла измененную последовательность юбок. А где же бабка носила стираную юбку? Она была женщина не только опрятная, она была женщина тщеславная, а потому и выставляла лучшую юбку на показ, да еще по солнышку, да при хорошей погоде!

Но у костерка, где пеклась картошка, бабка моя сидела после обеда в понедельник. Воскресная юбка в понедельник стала ей на один слой ближе, а та, что в воскресенье согревалась теплом ее кожи, в понедельник с самым понедельничным видом тускло облекала ее бедра. Бабка насвистывала, не имея в виду какую-нибудь песню, и одновременно выгребала из золы ореховой хворостиной первую испекшуюся картофелину. Картофелину бабка положила подальше, возле тлеющей ботвы, чтобы ветер мог овеять и остудить ее. Затем острый сук наколол подгорелый, с лопнувшей корочкой клубень и поднес его ко рту, и рот теперь перестал свистеть, а вместо того начал сдувать золу и землю с зажатой между пересохшими, треснувшими губами кожуры, при этом бабушка прикрыла глаза. Потом же, решив, что сдула сколько надо, она открыла сперва один, потом другой глаз, куснула хотя и редкими, но в остальном безупречными резцами, снова раздвинула зубы, держа половинку слишком горячей картофелины, мучнистой и курящейся паром, в распахнутом рту и глядя округленными глазами поверх раздутых, выдыхающих дым и окружающий воздух ноздрей на поле до близкого горизонта с рассекающими его телеграфными столбами и на верхнюю треть трубы кирпичного завода.

Между телеграфных столбов что-то двигалось. Бабушка закрыла рот, поджала губы, прищурила глаза и пожевала картофелину. Что-то двигалось между телеграфных столбов. Что-то там прыгало. Трое мужчин скакали между телеграфных столбов, трое летели к трубе, потом обежали ее спереди, а один, с виду короткий и широкий, повернул, разбежался по новой и перемахнул через штабеля кирпичей, а двое других, тощие и длинные, не без труда, но тоже перемахнули через кирпичи и опять припустили между столбов, а широкий и короткий петлял, как заяц, и явно спешил больше, чем тощие и длинные, чем те прыгуны, а тем двум пришлось снова броситься к трубе, потому что короткий уже перемахнул через нее, когда те на расстоянии в два прыжка от него еще только разбегались и вдруг исчезли, махнув рукой, — так это все выглядело со стороны, да и короткий на середине прыжка рухнул с трубы за горизонт.

Там они все и остались, сделали перерыв, или, может быть, переоделись, или начали ровнять свежие кирпичи, получая за это жалованье.

Когда же моя бабка, решив воспользоваться перерывом, хотела наколоть вторую картофелину, она промахнулась. Потому как тот, что вроде был широкий и короткий, перелез в том же обличье через горизонт, будто через обычный забор, будто оставив обоих преследователей по ту сторону забора, между кирпичей, либо на шоссе на Брентау, но все равно он очень спешил, хотел обогнать телеграфные столбы, совершал длинные, замедленные прыжки через поле, так что от его ног во все стороны разлетались комья грязи, а сам он выпрыгивал прочь из этой грязи, и как размашисто он прыгал, так же упорно лез он и по глине. Иногда он, казалось, прилипает ногами, потом зависает в воздухе ровно настолько, чтобы хватило времени ему, короткому и широкому, утереть лоб, прежде чем снова упереться опорной ногой в то свежеспаханное поле, которое всеми своими бороздами вместе с пятью моргенами под картофель сбегало в овраг.

И он добрался до оврага, короткий и широкий, но едва исчез в нем, как оба других, тощие и длинные, которые, вероятно, успели тем временем заглянуть на кирпичный завод, тоже переваляли через линию горизонта и начали оба, тощие и длинные, но не сказать чтобы худые, вязнуть в глине, из-за чего бабка моя опять не смогла наколоть картофелину, потому что не каждый